

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

О ДУШАХ
ЖИВЫХ И
МЕРТВЫХ

Часть сборника: О душах живых и мертвых. Впереди идущие

Алексей Новиков

О душах живых и мертвых

«ФТМ»

1957

Новиков А. Н.

О душах живых и мертвых / А. Н. Новиков — «ФТМ», 1957

Роман А. Н. Новикова «О душах живых и мертвых» (1957) посвящен истории трагической дуэли и гибели М. Ю. Лермонтова – создателя вольнолюбивой поэзии, стихотворения на смерть Пушкина, факелом скорби и гнева пылающего в веках, автора несравненных поэтических поэм «Демон» и «Мцыри» и великолепной прозы «Героя нашего времени». Одновременно с вольнолюбивой поэзией Лермонтова звучит написанная кровью сердца горькая поэма Гоголя, обличающая мертвые души николаевской России. Присоединяет к Лермонтову и Гоголю негромкий, но чистый голос народный поэт-самородок Алексей Кольцов. Страстными статьями уже выделяется в передовых рядах литературы сороковых годов Виссарион Белинский. С молодым напором и энергией примыкает к нему Герцен. Широкое и красочное полотно общественно-исторической действительности бурных сороковых годов прошлого столетия, насыщенных острой, непримиримой идеологической борьбой, дано в романе с художественной силой и убедительностью.

© Новиков А. Н., 1957

© ФТМ, 1957

Содержание

Часть первая	5
Выстрел в сторону	5
Глава первая	5
Глава вторая	11
Глава третья	15
Глава четвертая	22
Отцы и дети	28
Глава первая	28
Глава вторая	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Алексей Никандрович Новиков

О душах живых и мертвых

Часть первая

Выстрел в сторону

Глава первая

Утром, как всегда, Андрей Александрович Краевский принимал посетителей и журналистов. В эти часы к редактору «Отечественных записок» ездили без приглашения.

Хозяин встречал гостей в обширном кабинете, сплошь заставленном книжными шкафами затейливого устройства. Огромный письменный стол в свою очередь свидетельствовал о самобытных вкусах хозяина: на столе громоздились полки и полочки, а искусная резьба ловко прикрывала множество потайных отделений. Корректуры и рукописи были разложены в образцовом порядке. Обилие рукописей наглядно говорило посетителю о том, что такой могучий поток поэзии и прозы мог хлынуть только в лучший из столичных журналов.

Андрей Александрович носил черный, чуть не до пят, сюртук вполне солидного, но тоже несколько экстраординарного покроя. Голова его была покрыта черной шелковой шапочкой, приличной более ученому мужу, чем журналисту.

В костюме редактора «Отечественных записок», как и во всей обстановке кабинета, чувствовалась полная независимость от общепринятых образцов, однако в этом не было ни малейшего намека на легкомыслие.

Злые языки утверждали, что покрой сюртука, шелковую шапочку и даже фасоны мебели Андрей Александрович заимствовал от князя Одоевского. Но Владимир Федорович Одоевский, известный своей ученостью, литературными и музыкальными талантами, а также неумемной страстью к изобретательству, оставался всего лишь вкладчиком «Отечественных записок», хотя бы и весьма почтенным. Андрей же Александрович, едва достигнув тридцати лет, уже метил в литературные генералы. Правда, был он еще не по-генеральски сухопар, зато в голосе его прорывались внушительные, почти басовые ноты, а на висках уже обозначилась серебристая проседь.

Восхождение Краевского по лестнице журнальной славы произошло стремительно и незаметно. Впрочем, были в этом восхождении и досадные срывы. Так, незадолго до смерти Пушкина он расчел, что пушкинскому журналу «Современник» долго не жить, как в силу общеполитической неблагоприятной обстановки, так и по неопытности поэта в хозяйственных делах. И хотя был тогда Андрей Александрович лицом мало приметным в литературном мире, он, объединившись с Одоевским, сделал Пушкину неожиданное предложение – оставить за собой только изящную словесность да «суд над книгами», то есть критику, а в остальном передать все руководство «Современником» ему, Краевскому, вместе с князем Одоевским.

Должно быть, погорячился тогда по молодости Андрей Александрович. Не таков был Пушкин, чтобы вручить судьбы «Современника» кому бы то ни было, даже самому Краевскому, несмотря на все его достоинства и очевидную скромность. Поэт предпочел биться в тисках безденежья и крепко держать руль журнала в собственных руках.

Но Пушкин был убит, и фамилия Краевского все-таки появилась на обложке осиротевшего «Современника» рядом с именами новых редакторов – Жуковского, Вяземского, Одоев-

ского, Плетнева. Именитые друзья Пушкина никак не могли обойтись без помощи милейшего и усерднейшего Андрея Александровича. В свою очередь обложка «Современника» с фамилиями новых редакторов доставила неизъяснимое удовольствие Краевскому и смягчила ту искреннюю скорбь, которую всегда испытывал он при мысли о гибели приснопамятного поэта.

Прошло еще два года, и Андрей Александрович стал редактором-издателем крупнейшего журнала. Никто и не помнит теперь, какое жалкое существование влачили когда-то «Отечественные записки», с таким блеском возродившиеся в искусных руках Краевского.

На этот раз Андрей Александрович совсем не горячился и начал дело как раз вовремя. Даже самые простодушные читатели стали охладевать к «Библиотеке для чтения», которую издавал профессор Сенковский. Пустопорожнее зубоскальство профессора, гордившегося перед читателем полным отсутствием убеждений, давно набило оскомину. Хитрая личина не могла укрыть вполне определенных убеждений ученого редактора – его неизменной склонности к мракобесию.

А пушкинский «Современник» держался теперь только тем, что в нем от времени до времени публиковались драгоценные строки из наследия поэта.

В меру потрудившись в «Современнике», Андрей Александрович Краевский передал бразды правления трудолюбивому профессору Плетневу. Маститый ректор Петербургского университета, Петр Александрович Плетнев усердно наводнял «Современник» серой, но вполне благонамеренной скукой, и читатели, если в очередном номере не оказывалось пушкинских публикаций, оставляли книжки журнала неразрезанными.

Выходил в Петербурге еще один журнал – «Сын отечества», издаваемый Гречем. Но кто не знал, что Греча по справедливости величают Ванькой-каинном русской литературы? От Николая Ивановича Греча даже тогда, когда он ссорился с неразлучным своим другом, Фаддеем Венедиктовичем Булгариным, за версту несло – по общеизвестной эпиграмме наступить на Булгарина опасался каждый чистоплотный человек.

К тому же в «Сыне отечества» подвизался Николай Полевой. Потерпевший крушение издатель «Московского телеграфа» перебежал ныне в услужение к Гречу и Булгарину и вещает на страницах «Сына отечества»: «Есть у нас писатели с истинным дарованием – Греч, Булгарин, Загоскин и... Гоголь!» Думает бывший московский романтик Полевой, что найдутся читатели, которые поверят в гений и Греча, и Булгарина, и Загоскина, если вместе с ними, хоть на последнем месте, помянуть Гоголя.

Как в зеркале, отражали все эти журналы российское безвременье. Единственно разве шеф жандармов граф Бенкендорф считал состояние петербургской журналистики превосходным: никаких с ней хлопот!

Но неужто перевелись честные люди на Руси? Именно в это время и с этой мыслью выступил на широкое поприще Андрей Александрович Краевский. «Отечественные записки» будут бороться за неподкупное русское искусство. «Отечественные записки» объединят всех, кто достоин высокого звания писателя и журналиста. Еще не все они изведены в империи Николая Павловича.

«Отечественные записки» выходят второй год, и книжки журнала никогда не запаздывают. Вот и сейчас на письменном столе редактора покоится пахнущая свежей типографской краской февральская книжка «Отечественных записок» за 1840 год. А Андрей Александрович уже готовит новый номер, читает корректуры и ловко перехватывает деньги...

Ох, деньги, деньги! И сколько же их надо, если Краевский издает еще «Литературную газету», а в ней тоже ведет непримиримый бой и с Сенковским, и с Гречем, и с Булгариным, и с Полевым...

Словом, Краевский приобрел репутацию опытного издателя, человека с большим размахом и непоколебимыми убеждениями.

Редактор «Отечественных записок» не знает отдыха ни днем, ни ночью. А по утрам, как всегда, принимает у себя пишущую братию.

Несмотря на хмурое февральское утро, Андрей Александрович находится в отменном расположении духа. Он оглядывает обстановку своего огромного кабинета, тонущего в полумраке, и рассеянно слушает гостя. Первым приехал сегодня Иван Иванович Панаев, свояк Краевского, молодой журналист, обладающий счастливой способностью казаться еще моложе своих лет. Панаев рассказывает последние новости и, исчерпав весь запас, умолкает. Да и какие могут быть новости в петербургском литературном болоте или в светских гостиных?

– Не судья я вашему светскому обществу, – перебивает Краевский, – увольте, Иван Иванович! Скажите лучше, что нового пишут из Москвы о Гоголе?

– А Гоголь, представьте, продолжает, правда при строжайшей тайне, чтение «Мертвых душ». Старик Аксаков на днях опять сюда о том писал, и тоже, конечно, по секрету.

– Жив не буду, а те «Мертвые души» достану! – воскликнул Андрей Александрович. – С ума можно сойти от одной мысли, что московские разбойники перехватят...

– А вы бы сами закинули удочку, Андрей Александрович.

– Писал, всем надежным людям в Москву писал – нет ответа! А Гоголь – надобно же его повадки знать! – угрем из рук уйдет... – И раскинул Андрей Александрович руки так, будто хотел схватить ускользающую добычу.

– Пишут из Москвы, – подзадорил Панаев, – что Николай Васильевич уже несколько глав прочел избранным счастливым.

– Да ведь вы, Иван Иванович, будучи в Москве, сами на тех чтениях присутствовали?

– Имел честь. В том же богоспасаемом семействе Аксаковых... Однако же все, что знаю, давно вам рассказывал: в некий губернский город приезжает некто Чичиков...

– Так, так, помню... именно Чичиков.

– ...и, остановясь в гостинице, делает визиты местным чиновникам... Картинность изложения и слог... ну как бы вам это сказать... воистину достойны Гоголя. Воскрес автор «Ревизора» и после долголетнего молчания вознесся на недостижимую высоту.

– А суть-то этого вознесения какова?

– Увы, столько же знаю, сколько и вы, Андрей Александрович. Прочел Гоголь, что одно предприятие Чичикова, или, как говорят в провинции, пассаж, привело в совершенное недомение почти весь город. А после того свернул Николай Васильевич свою тетрадку да положил ее в карман... Тут начались вопли восторга, и все Аксаковы сияли так, будто сами, собственным своим семейством, сочинили «Мертвые души». И на том я, Андрей Александрович, из Москвы уехал...

Краевский сидел в глубокой задумчивости, уже не слушая незадачливого свояка, уехавшего от продолжения «Мертвых душ»... Андрей Александрович хорошо помнил, что Гоголь, когда приезжал в Петербург, читал кое-что из «Мертвых душ» Жуковскому. Слухами о «Мертвых душах» полнились все литературные закоулки, а он, издатель «Отечественных записок», еще не имел ни одной строки из поэмы ни в одном из потаенных ящиков своего письменного стола.

– Кстати, – вспомнил Панаев, – Одоевский хвалился мне вчера, что получил письмо от Гоголя: он готовит повесть для «Отечественных записок»...

– Повесть?! – вскипел Краевский. – На черта мне его повесть, когда Россия ждет «Мертвые души»! Да и нет у него никакой повести и быть не может, коли сидит над своей поэмой. Мастак он водить за нос, да меня не проведет! – И долго корил коварного Гоголя нетерпеливый редактор.

Панаев подошел к окну.

Из окна видны Измайловский мост и занесенная снегом набережная реки Фонтанки. Куда-то идет, четко отбивая шаг, рота Измайловского лейб-гвардии полка. Слышится глухая

барабанная дробь. Несмотря на ранний час, навстречу гвардейцам неуверенно движется прогулявший мастеровой. Он нелепо размахивает покрасневшими от стужи руками и, по-видимому, пытается что-то петь. Колочий ветер сердито треплет его рваный зипунишко и, кажется, собирается сбить с ног загулявшего до времени рабочего человека.

– Эх, масленица! Наша русская масленица! – с тоской говорит Иван Иванович и, махнув рукой, возвращается к покинутому креслу. – А чем же и жить на Руси честным людям? Ей-богу, скучно... Вот завести бы нам в журнале обзоры европейской жизни и мне бы по этому случаю махнуть в Париж, а?

Иван Иванович глянул на свои модные брюки. Неведомый художник создал это трико, пустив его в дымчато-палевый цвет. Другой искусник дал им парижский крой, игриво обтянув ляжки заказчика. Полюбовался на себя Иван Иванович и еще раз повторил:

– Право, Андрей Александрович, катнуть бы мне в Париж...

Краевский снисходительно улыбнулся.

– Помилуйте, и без Парижа дела хватит! Один Секретный комитет по крестьянским делам чего стоит! Если бы можно было предать гласности это событие первостепенной государственной важности... Разумеется, комитет, вновь созданный по высочайшему соизволению государя императора, не допустит никаких поспешных крайностей, однако милость, дарованная России...

– Милость! – перебил Панаев. – Право, Андрей Александрович, с ней лучше поторопиться, чем ожидать всеобщего истребления помещиков.

Как ни привык Краевский к неожиданным суждениям свояка, на этот раз он положительно опешил.

– Однако вы, Иван Иванович, сами впадаете в легкомысленную и предосудительную крайность.

– Я? При чем же тут я? – удивился Иван Иванович. – Вы бы поездили, Андрей Александрович, по России, тогда бы иначе заговорили...

– Да тише вы! – перепугался Краевский.

– Нет, сударь, коли о Секретном комитете заговорили, так извольте слушать. Когда поехал я прошлым летом в Казанскую губернию, сам перетрухнул. Представьте, управляющий именем выезжает в поля не иначе как с конной охраной... Вот они, смиренные-то мужички, какого страху навели! А помещики, отправляясь в дальний путь, маскируются под купцов или мещан. Ей-богу! И возводят на ночь в усадьбах баррикады. Даю честное слово, баррикады! А ведь это Тетюши! Что же в просвещенных губерниях творится?

В губерниях действительно творилось неладное. Неурожай поразил все Поволжье и многие другие места. Помещики бежали из насиженных гнезд. Иных мужики выгоняли из дедовых вотчин, пуская красного петуха. Власти растерялись. В двенадцати губерниях против голодных мужиков действовали воинские команды. Но и войска не хватало. Положение оказалось настолько грозным, что император Николай Павлович вынужден был искать всех возможных мер успокоения. Непокорных секли в деревнях, в Петербурге заседал Секретный комитет.

Об этом-то комитете и хотел было обстоятельно поговорить редактор «Отечественных записок», но Панаев обнаружил неожиданный поворот мысли.

– Кстати, – вдруг оживился он, – не завернуть ли нам по случаю масленицы на блины к Палкину? Идея! – продолжал он. – И Белинского прихватим!

Андрей Александрович посмотрел на свояка с недоумением.

– Виссариона Григорьевича – в ресторан? Не представляю...

– Уговорю, ей-богу, уговорю! – увлекался все больше Иван Иванович. – Для пользы русской словесности, хочет он или не хочет, затащу Виссариона к Палкину!

– Сомневаюсь!

– Пари! – решительно протянул руку Панаев.

– Никогда не держу пари. – уклонился Краевский. – С меня довольно споров о статьях Виссариона Григорьевича. Все еще о них шумят?

– Шумят, как всегда, шумят почитатели Виссариона. А январская книжка «Отечественных записок», в которой явился он с таким разнообразием идей, до сих пор остается злобой дня. Признаться, горячие головы изрядно его чествуют, о чем я, Андрей Александрович, не раз предупреждал.

– Очень хорошо, – откликнулся Краевский и даже потер руки, – без диспутации нет жизни журналу. За что же именно и почему ругают?

– А все за то же. Не дает покоя прежде всего злополучная статья «Менцель – критик Гёте». То поклонялись Белинскому как кумиру, то готовы повергнуть собственного идола во прах. Да и я, сколько ни слушаю, не могу взять в толк: зачем он написал эту статью? А некоторые приписывают ее вашему влиянию, Андрей Александрович!

– Чересчур лестно для меня, – улыбнулся Краевский. – Попробуй повлиять на Виссариона Григорьевича! Хотел бы видеть такого человека... Впрочем, неужто публике до сих пор невдомек, что Белинский согласился работать в «Отечественных записках» и с тем в Петербург переехал, чтобы вся его работа была, как он сам заявил, без всякого ущерба для его литературной совести? Не вы ли, Иван Иванович, были посредником в этом соглашении джентльменов?

– Очень хорошо помню! Не забыл я и того, что в свое время вы, Андрей Александрович, именовали Белинского мальчишкой и крикуном...

– Каюсь, каюсь! Но я же зову его ныне и спасителем журнала...

– А если из одной крайности ударяетесь в другую?

Разговор стал живо интересовать Андрея Александровича. Он поправил шелковую шапочку.

– Я никогда не высказываю Белинскому своего мнения о его статьях, – ни одобрения, ни порицания. Я умею уважать свободу мысли!

– А мне тычут этого самого «Менцеля» и, стуча кулаком по столу, допрашивают: «Неужто все это мог написать Белинский?»

– Ох, эти горячие головы! – перебил Андрей Александрович. – Никак не хотят отдать автору справедливости: ведь блестящая, полная мыслей статья!

– Кто будет спорить! – воскликнул Панаев. – Но именно мысли эти, изложенные с таким блеском, и возбуждают ярость. Не соглашаются пылкие умы насчет разумно-сущего. Как это у них, философов, выходит? Учю, учю эту премудрость, а постигнуть не могу, и память не держит...

Иван Иванович встал, нашел на письменном столе январскую книжку «Отечественных записок» и стал быстро ее листать.

– А! Вот то самое место, где философская собака зарыта! – И он прочел, глубокомысленно наморщив лоб: – «Все, что есть, то необходимо, разумно и действительно».

– Ну? – спросил Краевский. – Автор воспроизводит известное положение Гегеля.

– Гегель-то, конечно, Гегель... «А как же нам, спрашивают, на наши российские безобразия смотреть? Неужто они тоже необходимы и разумны?» И опять тычут в те строки, где Белинский проповедует, что истинное искусство должно примирять нас с действительностью, а не восстанавливать против нее.

– Таков непреложный философский вывод, – охотно подтвердил Краевский.

– А мне говорят: «К черту эту философию, если зовет лукавая ведьма к примирению с нашим российским непотребством! Пусть ваш автор той блудливой старушонке куры строит, а нас увольте!»

– Увольте и меня, почтеннейший Иван Иванович, от подобных выражений!

– А я, Андрей Александрович, еще смягчаю выражения. Молодежь, которая восстает ныне на Белинского, не признает изящных иносказаний.

Краевский потянулся к книжке журнала и, взяв ее из рук Панаева, поставил на полях читанной страницы аккуратную галочку.

– Очень любопытно, очень... – сказал он. – Не понимают или не хотят понять выводов, вытекающих для искусства из определенной идеи.

– А пристали ли те выводы, хотя бы и сверхфилософские, нашему либеральному журналу? – спросил Панаев.

– Но разве не свобода мнений написана на нашем знамени? – вопросом на вопрос отвечал Краевский. – Продолжайте, однако, редакции необходимо собрать все отзывы.

– Извольте. Тем охотнее буду продолжать, что по случаю масленицы наша журнальная братия, очевидно, более склонна к блинам, чем к философии. Признаюсь, я не охоч передавать нападки на Белинского в присутствии любопытных... И так действуют как красное на быка многие мысли Виссариона Григорьевича. А перечитав злополучного «Менцеля», громкоподобно кричат: «Неужто это Белинский, написавший когда-то «Литературные мечтания»? Неужто это Белинский, провозгласивший явление Гоголя?» Ему ли, мол, проповедовать созерцательность и примирение? Ну, и прочее и прочее, и все непременно на таком фортиссимо, что я бегу прочь, а потом страдаю мигренью.

– Да, – Краевский вздохнул, – не хотят понять, что Виссарион Григорьевич, еще будучи в Москве, изменил свои мнения в сторону умеренности. Неужто с годами не может умягчиться у критика характер?

– Сильно сомневаюсь, Андрей Александрович. Виссарион разве что в могиле смирится. А как он разделал в той же книжке Полевого! И подписи под статьей нет, а все знают автора, и все опять в один голос заявляют: «Вот где отозвался прежний Белинский!» И находчив же он: перепечатал ехидную характеристику, данную раскаявшемуся Полевому Булгариным. Выходит, Полевого да Булгариным же по голове, а Гречу теперь их мирить! Воображаю, сколько у них конфузу! Но Булгарин-то хорошо дело понимает. Как-то встретился мне на улице: «Почтеннейший, говорит, это не вы ли привезли из Москвы бульдога Белинского, чтобы нас травить?» Этот понимает, что ни ему, ни его подручным спуску от Виссариона не будет. У него была и всегда будет бульдожья хватка на врагов. Вот вам и созерцатель! Одной рукой пишет о разумной действительности и примирении с ней, а другой раздаёт полновесные оплеухи охранителям наших устоев.

– От этого «Отечественные записки» никак не проиграют, – довольный, перебил Краевский. – Клянусь, я и здесь никак не собираюсь стеснять Белинского.

– А все-таки не понимаю я, зачем ему эти теории? Не доведет его Гегель до добра. Вы бы послушали, как они в Москве гегелианские обедни пели! Чуть меня до горячки не довели. «Бесконечное в конечном... Субстанция и абсолют...» Только бегством и спасся из этого философского монастыря!

– Вот вам урок, Иван Иванович, не углубляйтесь в Гегеля! – пошутил Краевский.

– Боже меня упаси! – простодушно отмахнулся Панаев. – Я от этой неметчины, как черт от ладана, бегу, не даю и сейчас Белинскому слова молвить. «Пас! – кричу. – Пас, батенька! А коли желаете, священнодействуйте без меня...» Но, право же, советую крепко подумать, Андрей Александрович! Я всей душой симпатизирую Белинскому, но должен предостеречь: эти статьи вводят в великое смущение многих читателей...

– А у меня в столе лежит новая статья о немецкой философии. И автор вам известен: Михаил Александрович Бакунин.

– Ну, этот при Гегеле в должности московского пророка ходит. Престранный, впрочем, пророк – с девственным румянцем на щеках... Есть по этому поводу щекотливый анекдот. Рассказать, а?

– Вам бы Поль де Кока читать! Стыдитесь, почтеннейший! Ведь вы теперь женатый человек!

– Не отрекусь от блаженства... А анекдот о Бакуanine, право, презабавный. В своем роде тоже философия...

– Пусть она и останется при вас, – решительно сказал Краевский, – а мы предпочтем философскую статью Бакуanine. Образцовая статья... Впрочем, до Гегеля он все еще не добрался... Жду продолжения. Только сей московский гегельянец столько же щедр на посулы, сколько туг на исполнение. Таковы, видно, все наши философы, исключая Белинского... И вот вам мое твердое слово, Иван Иванович, всегда буду гордиться тем, что именно нам – и только нам – удалось заполучить в Петербург Виссариона Григорьевича. Пусть невежды бранят его философские трактаты! Весь просвещенный мир читает ныне Гегеля, как магометане Коран. Мы удовлетворяем похвальную жажду знания... А идея гармонического примирения с существующими порядками – разумею, в высоком философском смысле – рождена самой жизнью... Довольно напрасных жертв и беспочвенных мечтаний! Пора и нам, русским, найти твердые основы для наших верований и стремлений.

– А я этого все равно никогда не пойму! – разгорячился Панаев, гордившийся своими либеральными, хотя и недавно приобретенными, мыслями. – Что же это выходит? И квартальный надзиратель и жандармы – тоже для гармонии?

Краевский безнадежно махнул рукой.

– Нет, Иван Иванович, вы в философы решительно не годитесь!

– И за то благодарю создателя... Однако к Палкину на блины обязательно катнем. А потом, Андрей Александрович, учинить бы что-нибудь такое-этакое по холостяцкой части...

Краевский беспокойно оглянулся.

– Не терплю, Иван Иванович, этих пошлостей! Пора бы о том знать...

– Эх вы, философ! – рассмеялся Панаев. – А коли все существующее разумно, почему бы пренебрегать и запретными утехами? Да где вам!.. Ну, я пойду к Анне Яковлевне. Как она?

– Анна Яковлевна мудро правит жизнью. А ваша Авдотья Яковлевна как?

– Авдотья Яковлевна тоже правит жизнью, – Панаев вздохнул, – но правит диктаторски, не дает мне никакого спуска, игры воображения вовсе не признает. А впрочем, цветет...

– Она у вас умница, – наставительно сказал Краевский. – Передайте ей мой почтительный привет.

Иван Иванович пошел было из кабинета и на ходу еще раз хотел полюбоваться дымчато-палевыми брюками, сшитыми по последней парижской моде, но двери распахнулись и казачок торопливо объявил:

– Михаил Юрьевич Лермонтов!

Глава вторая

– Прошу! Покорно прошу! – говорил Краевский, идя навстречу гостю, и вдруг остановился: рука поэта была обвязана носовым платком, сквозь который просачивалась кровь. – Что с тобой, Михаил Юрьевич, приключилось?

– Ничего особенного, – отвечал Лермонтов, раскланиваясь с Панаевым, – если не считать дуэли, которую я только что имел.

– Шутить, батенька, изволишь, – у Краевского дрогнул голос, – а нам, ей-богу, не до шуток. – Андрей Александрович переводил глаза с перевязанной руки на лицо поэта.

– Зову в свидетели бога и Ивана Ивановича, – продолжал Лермонтов, едва пряча улыбку, – я нисколько не шучу, хотя новость моя ничуть не примечательна.

– Если это не мистификация... – Краевский побледнел и глядел на Лермонтова не отрываясь, – если это не мистификация, сударь, то говори по крайней мере, с кем тебя угораздило драться?

– Господин де Барант, сын французского посла, удостоил меня чести скрестить с ним шпаги. Увы! Шпага моя сломалась при первом выпаде, и тогда мы были вынуждены перейти на пистолеты.

Едва услышав эти подробности, Краевский быстро пошел к дверям.

– Никого не принимать! – крикнул он в переднюю, потом наглухо закрыл двери и сел в первое попавшееся кресло.

Панаев, наоборот, встал. Оба они являли столь комическое зрелище, что Лермонтов неудержимо расхохотался.

– Признаюсь, никак не рассчитывал на подобный эффект!

– И это надежда и слава российской поэзии! – вскричал Краевский. – Наследник Пушкина! А дерется, как желторотый прапорщик! – И он закрыл лицо руками.

– Если это не тайна, Михаил Юрьевич, – Панаев подошел к поэту, – если вы сочли нас достойными доверия в таком деликатном деле, то, может быть, вы откроете причину столь печального происшествия?

– Извольте! – Лермонтов был все в том же веселом, даже задорном настроении. – Но если я скажу вам, что ни одна из женщин не была истинной причиной столкновения, то удовлетворит ли вас такой ответ?

– Да скажешь ли ты наконец правду?! – взмолился редактор «Отечественных записок». – Я больше не выдержу!

– А между тем, – продолжал поэт, – я должен обратиться именно к тебе, Андрей Александрович, и с неожиданной просьбой. Шпага противника царапнула мне руку и грудь. Раны несерьезны, но кровоточат. Мне не хотелось ехать к бабушке, чтобы ее не встревожить. Короче говоря, мне нужна чистая рубаха, и я решил, что редактор «Отечественных записок» по своему великодушию не откажет в этой просьбе, не совсем, правда, обычной.

Хозяин дома, пребывая в полной растерянности, увел Лермонтова в спальню и снова наглухо закрыл за собой дверь. Панаев прислушивался, но, как ни напрягал слух, ничего не мог разобрать. По счастью, дверь спальни вскоре открылась.

– Так вот, господа, – продолжал Лермонтов, но уже и тени улыбки не было на его лице, а речь звучала искренне и задушевно, – мне пришлось защищать на этой дуэли честь русского имени, хотя, признаюсь, не назвал бы этот способ защиты наилучшим. Но что делать, выбор от меня не зависел. А французик...

– Надеюсь, он не убит и не ранен? – перебил Краевский и почти застонал: – Боже мой, что будет теперь в дипломатическом мире!

– Господин де Барант покинул поле битвы совершенно невредимым.

– Слава тебе, господи! – Краевский неожиданно для себя перекрестился. – Не хватало еще, чтобы отношения России с Францией, и без того натянутые, получили новый повод для осложнений!

– Но именно дерзкое презрение к русским со стороны вертопраха, явившегося к нам с парижских бульваров, и вынудило меня дать урок этому просвещенному неучу, не умеющему уважать достоинства ни французов, ни русских.

– Михаил Юрьевич, да расскажи по порядку, иначе невозможно понять!

Краевский давно потерял привычную выдержку, даже шелковая его шапочка была сбита набок, а он ничего не замечал.

Лермонтов оглядел собеседников и, по-видимому насладившись впечатлением, снова заговорил шутивным тоном.

– Если вас интересуют подробности, – сказал он, – то встреча состоялась на Парголовской дороге, за Черной речкой, сего февраля восемнадцатого дня тысяча восемьсот сорокового года...

– Он меня с ума сведет! – не выдержал Краевский и с необыкновенной для него поспешностью бросился к графину, налил полный стакан воды и выпил залпом.

– Но как же я буду рассказывать, Андрей Александрович, если ты постоянно меня перебиваешь?

Андрей Александрович молча бухнулся в кресло, совершенно не заботясь о редакторском достоинстве.

– Да и что рассказывать! – Лермонтов опять выдержал паузу. – Когда моя шпага сломалась и мы перешли на пистолеты, противник мой, будучи в волнении, плохо прицелился и промахнулся.

– А!.. – только и мог произнести хозяин дома.

– Да, представьте, промахнулся, – повторил поэт, – а я, выждав его выстрела...

– Тоже промахнулись? – догадался Панаев.

– Не совсем так: я выстрелил в сторону. После выстрела противника я мог показать ему полное равнодушие к его участи, и, право, это много приятнее, чем целить в человека, что бы ни говорили рыцари дуэли... Вот, собственно, и все, господа.

Лермонтов направился к письменному столу Краевского, на котором, роясь в рукописях, любил устраивать полный беспорядок. Краевский, опомнившись, быстро обогнал его и встал в оборонительную позу.

– Не буду, не буду! – рассмеялся Лермонтов. Он взял со стола только что вышедшую февральскую книжку журнала. – Какие новые таланты явились в «Отечественных записках»?

– Вот она, твоя «Тамань», – Краевский взял журнал из рук поэта и раскрыл отдел прозы, – вот твоя благоуханная повесть, которой суждено открыть новую эру в изящной словесности. Вот она! – с торжеством заключил он.

Лермонтов мельком взглянул на свою «Тамань».

– Советую беспощадно вычеркивать все «эры» и «благоухания» из критических статей о моей повести, если такие статьи объявятся, – сказал он.

– Ну, будем тогда называть твою повесть русской «Ундиной», в пику достопочтенному Василию Андреевичу Жуковскому, в которого ты на сей раз метил...

– А пора бы и Василию Андреевичу оставить заемные сказки.

– Однако, – назидательно сказал Краевский, – ходят слухи, что сейчас Жуковский в большой силе при дворе.

– Печальная участь для таланта...

– Ох, язык твой – враг твой, Михаил Юрьевич! – Краевский предпочел перевести разговор. – А твой роман? – спросил он. – Разрешила ли наконец его цензура?

– Увы! Цензор все еще размышляет. А кому, как не тебе, Андрей Александрович, знать всю глубину и медлительность этих размышлений! Не завидую, однако, Печорину, он попал в дурное общество и, надо думать, торопится от него избавиться. К сожалению, решение принадлежит не ему, а цензору. Впрочем, жду решения со дня на день.

– А теперь эта проклятая дуэль! – Краевский снова вернулся к только что сообщенному ему известию. – Неужто не понимаешь, Михаил Юрьевич, что теперь ты сам себя поставил под удар? Не ты ли трижды виноват перед словесностью?

Лермонтов, не отвечая Краевскому, обратился к Панаеву:

– Иван Иванович, попотчуйте нас каким-нибудь, только не литературным, известием. Хотя бы в благодарность за историю, которую я вам рассказал.

Но и Панаев чувствовал себя не в своей тарелке. Новость была чревата последствиями, которых нельзя было предвидеть. Оба собеседника наперебой засыпали поэта вопросами о дуэли.

– Довольно, господа! – Лермонтов решительно отмахнулся. – Право, не стоит ни времени, ни труда... Надеюсь, рассказ мой останется тайной?

– Еще бы! – откликнулся Краевский. – Если только в Петербурге может остаться тайной подобная история.

– Нет никаких оснований опасаться огласки, – сказал поэт, – все меры осторожности взяты. – Он еще раз бегло просмотрел книжку «Отечественных записок». – А, вот наконец та статья о Марлинском, которой ты наперед хвастал, Андрей Александрович!

– И вновь рекомендую ее твоему вниманию.

– Михаил Юрьевич! – перебил Панаев. – Своей «Бэлой» вы начали поход против кавказских повестей Марлинского-Бестужева. Теперь, под ударом статьи Белинского, окончательно рухнет его литературная, подточенная временем слава.

– И это будет свидетельством зрелости вкусов нашей публики, если исполнятся ваши слова, Иван Иванович! Забудут повести Марлинского, но история сохранит драгоценное имя Александра Бестужева, доколе будет жить память о людях четырнадцатого декабря. Отдадут дань также критической его деятельности в «Полярной звезде»... А! Именно об этом и говорится в статье.

Поэт бегло перелистал страницы, потом обратился к собеседникам:

– Деятельность Марлинского-Бестужева являет удивительный пример двойственности: борец за идеи, так дорого поплатившийся, он вовсе не отразил этих идей в своих повестях... – Лермонтов отложил журнал и поднял глаза на Краевского. – К слову, о Белинском: будет ли он и далее утверждать, что не дело поэта вмешиваться в правительственные дела? Кажется, именно так сказано было в его статье о Менцеле?

– А мы, – вмешался Панаев, – как раз перед вашим приходом беседовали о философских доктринах Виссариона Григорьевича.

– И что же? – с интересом спросил Лермонтов.

– Черт бы побрал всю философию и всех философов! – перебил в отчаянии Краевский. – Дуэль, твоя проклятая дуэль, Михаил Юрьевич, не идет у меня из ума.

– Полно, Андрей Александрович! Будем верить, что философия и философы просуществуют дольше, чем дуэли. – Лермонтов стал задумчив. – Я не раз был удостоен лестных отзывов господина Белинского, но я отнюдь не считаю, что философия должна мирить нас с нашей действительностью.

– Именно то же самое говорил и я, – с удовлетворением подтвердил Панаев.

– Рад совпадению наших мыслей, – Лермонтов вежливо поклонился Панаеву, и этот поклон скрыл от собеседников иронический огонек, вспыхнувший в его глазах. – Прошу вас, господа, передать чувства моего уважения господину Белинскому и глубокое сожаление, что по обстоятельствам службы не имел удовольствия видеться с ним в последнее время. Многое хотелось бы возразить ему. Думаю, что именно в мире философии всегда будут оправданны и законны самые отчаянные поединки.

Поэт откланялся и, уже уходя, обратился к Краевскому:

– Спасибо за услугу. По счастью, есть на Руси хоть один редактор, у которого можно позаимствоваться чистым бельем. Факт отрядный для изящной словесности!

Лермонтов уехал.

– Мальчишка! Гусар! Дуэлянт! – кричал, выйдя из себя, Андрей Александрович. Он бегал по кабинету, к величайшему удивлению Панаева, который никогда не видел свояка в таком откровенном излиянии чувств. – Наследник Пушкина! – продолжал неистовствовать Краевский. – А он видит в этом наследстве одни только проклятые дуэли. Ну что вы молчите? – вдруг встал он перед Панаевым.

Панаев действительно молчал.

– Кричать надо! – продолжал Краевский и в самом деле опять перешел почти на крик: – Как он смеет рисковать своей жизнью, этот лейб-гвардии драчун! Его надо охранять от него самого... Ну что же вы молчите?

– А и то, – опомнился Панаев, – ведь прежде всего теперь надо молчать. И вам тоже, Андрей Александрович!

– Молчу, ну, молчу! – согласился Краевский, почувствовав вдруг чрезвычайное утомление. – Вы-то смотрите, Иван Иванович, не разболтайте... Знаю я вас! – Краевский еще раз оглянулся на запертые двери. – Нам вручена тайна, от которой зависят судьбы словесности. Боже мой, – снова застонал он, – лучше бы ничего не знать! Черт его сюда принес!.. А в цензуре лежит его роман, который... Одним словом, необыкновенный роман! И по рукам ходит «Демон», эта божественная поэма, которой можно упиться до сумасшествия.

– Удалось ли вам получить хотя бы отрывки из «Демона» для «Отечественных записок»?

– Черта с два! – отвечал свояку Краевский. – Говорит, отдал рукопись каким-то дамам, а те, по обычаю, задевали невесть куда, и уж, конечно, копии у него нет... Или врет? – вдруг усомнился Андрей Александрович. – Узнали бы вы стороной, Иван Иванович, где, у кого кочует «Демон».

Глава третья

Масленица была на исходе. В большом петербургском свете происходили ежедневные балы и маскарады. Молодым людям, принадлежавшим к избранному обществу, приходилось переезжать из дома в дом, с бала на бал и возвращаться под утро.

Граф Ксаверий Владиславович Браницкий не давал ни балов, ни маскарадов. Этот блистательный лейб-гусар вел холостую, но широкую жизнь. Именно у него и собиралась в пятницу на масляной светская молодежь. Собирались, впрочем, поздно. Одни приехали из театра, другие – покинув маскарад, третьи – после катания с дамами на тройках. Никто не боялся опоздать.

Ужин, накрытый в кабинете Ксаверия Владиславовича, так и не убирался. Ярким огням свечей суждено было погаснуть только тогда, когда запоздалое петербургское солнце возвестит о своем явлении бледными отсветами лучей на плотных шторах.

Но еще далек был этот час. Съезд у Браницкого едва начался. Вымуштрованные лакеи успели сменить только первые бутылки букетного вина. Новые гости прибывали.

Странные, правду сказать, были эти ночные сходки. В столице императора Николая Павловича, под носом у графа Бенкендорфа, молодые люди лучших фамилий обсуждали события дня с такой свободой, как будто не было на свете ни императора, ни графа Бенкендорфа.

Хозяин дома, например, справедливо ненавидел русского царя за кровавую расправу с родной Польшей. Впрочем, этот владетель миллионного состояния и многих тысяч польских крестьян никогда не думал о том, что крестьяне, подвластные своим панам, терпят не только от императора России. И сама Польша представлялась Ксаверию Владиславовичу не иначе, как такой, какой видел он ее из высоких окон своих пышных родовых замков.

Браницкий беседовал у стола с молодым дипломатом, князем Иваном Сергеевичем Гагариным. Князь был редкий гость в отечестве и свой человек в парижских салонах.

Браницкий плохо слушал. Всем было известно, что князь Гагарин, вернувшись из Парижа и снова отправляясь туда же, особенно охотно говорил о великом предназначении России и... О святости католической церкви. Какая тут была связь, не понимал, пожалуй, и сам Иван Сергеевич. Еще меньше понимали собеседники: по-русски князь говорил совсем дурно, а по-французски так быстро, что было опять же трудно уследить за развитием его мысли. Сегодня, впрочем, князь оседлал другого любимого конька. Торопясь и захлебываясь, Иван Сергеевич говорил о том, что русских мужиков нужно прежде всего освободить.

– Освободить... – машинально повторял Браницкий, следя за лакеем, который ловко менял приборы.

– Certainement!¹ – подтвердил Гагарин. – Освободить! Не правда ли, как все это просто, господа? – воззвал он к окружающим.

Иван Сергеевич не собирался присутствовать при осуществлении своей идеи. Дипломатическая служба постоянно влекла его за границу. К тому же освободительный проект существовал в княжеской голове совершенно независимо от участия трех тысяч собственных, гагаринских крестьян. В этом вопросе никакой ясности у князя не было. И молодые офицеры гвардии, собравшиеся у Браницкого, почти не слушали Ивана Сергеевича: он давно всем надоел, как осенняя муха.

В кабинет вошел статный, красивый молодой человек, одетый в щегольской фрак. Его приход вызвал общее движение.

– Столыпину ура! – провозгласил офицер-конногвардеец.

Все обратились к вошедшему с бокалами в руках. Это было похоже на демонстрацию. И не зря. Совсем недавно Алексей Аркадьевич Столыпин сменил гусарский ментик на фрак. Вынужденная отставка произошла из-за столкновения с самим императором по очень щекотливому делу. Столыпин ловко способствовал выезду за границу светской дамы, уклонившейся от любовных притязаний монарха. За это и чествовали храбреца.

– Лермонтов еще не был? – спросил Столыпин у Браницкого, обмениваясь рукопожатиями с друзьями.

– А зачем он тебе?

– Есть к нему дело, – уклончиво отвечал Алексей Аркадьевич. Не мог же он объявить, что только на днях был секундантом Лермонтова на дуэли с Барантом.

Между тем застольная беседа перешла на важные темы. Собравшиеся дружно поносили деспотизм, утвердившийся в России. Об этом много могли рассказать и граф Андрей Шувалов и отставной гусар Николай Жерве. Оба они уже были сосланы на Кавказ за гвардейские шалости. Жерве не вынес азиатского деспотизма и вышел в отставку. Граф Андрей Шувалов был возвращен на испытание в лейб-гвардии гусарский полк. Здесь составилось то «осиное гнездо», которое давно грозился разорить великий князь Михаил Павлович. Впрочем, это было еще не самое страшное. Страшны были беспощадный гнев и месть императора. Сейчас всех занимала участь офицера гвардии князя Сергея Трубецкого. Он уже отбыл однажды кавказскую ссылку вместе с Жерве и Шуваловым, а недавно, без всяких видимых причин, был вторично сослан на Кавказ по именному высочайшему повелению.

– За что? – горячился Жерве. – Или только за то, что не вовремя попался на глаза Чингисхану?

– За здоровье Трубецкого! – поднял бокал хозяин дома.

Все дружно чокнулись.

– Позволь дополнить твой тост, Браницкий, – сказал, выходя из задумчивости, совсем юный гусар, князь Александр Долгорукий, – Поднимем бокалы за то, чтобы закон и справедливость, а не проклятый деспотизм, управляли судьбой всех нас.

– Bravo, юнец! – поддержал Долгорукого новый гость, офицер флотского гвардейского экипажа. Он приветливо улыбнулся Долгорукому. – Неужто в Пажеском корпусе его величества учат таким лихим тирадам?

Долгорукий вспыхнул: он только что окончил корпус и всякое напоминание об этом готов был принять за личное оскорбление.

– Фредерикс, – отвечал он, – неужто ты утратил способность разделять человеческие чувства?

– А! Вот и ответная стрела, напоенная ядом! – рассмеялся Фредерикс. – Сражен, юнец, право, сражен!

¹ Конечно, безусловно (*франц.*).

– К делу, к делу! – прервал Браницкий, который до сих пор разговаривал со Столыпным. – Коли ты, Фредерикс, наконец явился, так и перейдем к придворной хронике. Слово за тобой!

Все обратили взоры к Фредериксу. Даже отчаянные игроки покинули бильярдную и присоединились к обществу. Связи Фредерикса с Зимним дворцом были очень близки и интимны – его мать слыла любимой подругой императрицы.

– Что же новенького вам рассказать? – Фредерикс, видимо, был польщен общим вниманием. – Представьте, молодой Бярятинский все больше входит в фавор.

– Ну и новость! – недовольно протянул Столыпин. – История тянется едва ли не второй год.

– Совершенно верно, – подтвердил Фредерикс, – но сейчас дело зашло так далеко, что в интимном кружке их величеств тайно обсуждался вопрос о возможности бракосочетания великой княжны Ольги Николаевны с князем Бярятинским. Итак, на дворцовом горизонте восходит новое светило, господа. Да ты ведь хорошо его знаешь, Лермонтов! – продолжал рассказчик, обращаясь к поэту, который только что приехал и, остановясь в дверях, внимательно слушал.

– Имел честь быть вместе с Бярятинским в юнкерской школе и, каюсь, почтил князя весьма неназидательной поэмой. Разумеется, я писал бы иначе, если бы больше знал о его амурных талантах... Но прости, Фредерикс, я, кажется, перебил тебя?

– Да я сказал, пожалуй, все.

– Бярятинский пойдет протоптанной дорогой, – продолжал Лермонтов. – При русском дворе такую карьеру делали и певчие, и истопники, и просто умалишенные. Почему бы и сиятельному кирасиру не занять соблазнительную вакансию?

– Если с этой стороны вникать в историю царствующего дома, – вмешался Столыпин, – мы никогда не кончим, господа.

– Позор! – вскипел Александр Долгорукий.

– Романтик! – улыбнулся ему Лермонтов. – К Бярятинскому есть другой счет, господа. Помните ли вы, что он публично выражал сочувствие убийце Пушкина и добился высокой чести посетить арестованного Дантеса?

– Стало быть, Лермонтов, он хорошо помнит и твои тогдашние стихи?

– Признаюсь, я метил в подлецов покрупнее. Однако с тех пор мы с Бярятинским разошлись. Но на последнем новогоднем маскараде я собирался принести ему поздравление с амурной карьерой при дворе... Надо было видеть величественную рожу Бярятинского: поздравление было бы вполне своевременным.

– И ты поздравил? – раздался голоса.

– К сожалению, не успел. Помешала неожиданная история.

– Рассказывай!

– Но входит ли подобный рассказ в программу наших сходов? – серьезно обратился поэт к Бярятинскому.

– К делу, к делу! – отвечал хозяин дома.

– Продолжаю, господа. Их высочества Ольга и Мария Николаевны были на маскараде в розовом и голубом домино, и, разумеется, все делали вид, что не могут раскрыть эти прелестные инкогнито. Таинственные домино непринужденно резвились, конечно под тайным попечением голубых мундиров, и, резвясь, стали интриговать меня, хотя я не искал подобной чести.

– Сюжет, достойный Боккаччо, – перебил Шувалов.

– Не совсем так. Я двинул сюжет по собственному разумению. Мне оставалось поверить в инкогнито, как делали все. А поверив, я воспользовался свободой маскарадных обычаев и отвечал на интригу так, как отвечают навязчивым камелиям.

Дружный хохот покрыл слова поэта.

– Ну, а развязка? – едва мог проговорить Жерве.

– Прелестные домино взвизгнули от перепуга и исчезли. Как видите, мой подвиг не велик.

– Ну, держись теперь, Лермонтов! Такой выходки никогда тебе не простят, – заявил Фредерикс.

– Тем более не простят, что эта история вдохновила меня на стихи, а стихи я напечатал в «Отечественных записках» с точным обозначением: «1 января». Нет только посвящения их высочествам.

– А знаешь ли ты, что на тебя готовится литературный пасквиль?

– Ты говоришь о повести, которую сочинил граф Соллогуб?

– Именно! – подтвердил Фредерикс. – Бярятинский, присутствовавший на чтении повести в августейшей семье, очень ее одобрил. Теперь я понимаю, откуда ветер дует.

– Как видишь, – отвечал поэт, – у меня с Бярятинским давние счеты. Никогда не прошу подлецу его искательства к Дантесу... Ну, рассказывай дальше, Фредерикс!

– Карьера Бярятинского только начинается, пожалуй, – продолжал Фредерикс. – Говорят, он обложился книгами, изучает дипломатию и историю отношений России с Востоком. Роман бравого кирасира с пылкой княжной может открыть новую страницу во внешней политике России. А зная неумное честолюбие Бярятинского...

– Хуже, чем при Нессельроде, не будет, – подал голос Жерве.

– Почему?

– Хотя бы потому, что хуже не может быть, – пробасил Шувалов. – Где престиж России, если внешнюю политику се направляет беглый австриец, алчный взяточник и круглый дурак!

– Но ты забываешь о графине Нессельроде, – перебил Столыпин. – Коли так аттестуешь нашего министра, что же сказать об управляющей им злобной колдовке?

– Господа, господа! – зывал Браницкий, видя, что порядок нарушен. – Прошу вернуться к вопросу о внешней политике России. Гагарин, что слышно во французском посольстве?

– Между нами, – заговорил князь Гагарин, подыскивая слова, – между нами, как говорят на Руси, барон де Барант ощущает растерянность... Да, именно так: растерянность, которую не может скрыть.

При этих словах Столыпин переглянулся с Лермонтовым. Поэт сидел около стола, не прикасаясь к бокалу, и прислушивался к словам Гагарина.

– Да, да, – продолжал Гагарин, – положение остается чрезвычайно напряженным. С тех пор как Франция поддержала восстание египетского паши против турецкого султана, наш император рассматривает это как вмешательство Франции в восточные дела и отозвал посла из Парижа.

– Гагарин, мы не школьники, всем это давно известно!

– Но поймите, посол граф Пален находится в Петербурге уже три месяца и до сих пор не получил указания вернуться в Париж. Французское правительство рассматривает это как враждебную демонстрацию, и барон де Барант опасается, что его тоже могут со дня на день отозвать в Париж.

– Туда ему и дорога, – сказал Столыпин.

– А что будет дальше? – Гагарин беспокойно развел руками. – Если так будет продолжаться, в воздухе может запахнуть порохом.

– И вот, господа, теперь понятно, – включился в разговор Фредерикс, – почему такая тревожная атмосфера царит в Зимнем дворце и почему французский посол испытывает смятение и не может его скрыть.

– Послушай, Гагарин, – вмешался Столыпин, – а молодого Баранта ты видел?

– Ну конечно, – не без удивления отозвался Гагарин. – Каждый день его вижу. Эрнест, как всегда, обаятелен и мил... Но почему ты о нем спросил? Эрнест не делает никакой политики.

– Ошибаешься, Гагарин, он тоже делает политику, – перебил Столыпин, – у петербургских кокоток.

Снова раздался общий хохот.

Граф Браницкий неодобрительно покосился на Столыпина. Хозяин дома старался направить беседу на серьезные темы. Он оглянулся, ища глазами Лермонтова.

– Михаил Юрьевич! – окликнул его Браницкий. – Что слышно о твоём Печорине?

– Ему ныне везет, – отвечал поэт. – Но, по-видимому, у нас на Руси должно сначала умереть даже литературному герою, чтобы не заподозрило его в чем-либо бдительное начальство. Словом, роман мой только что победно прошел через цензуру.

– Виват! – воскликнул Браницкий.

Молодые люди дружно его поддержали.

– Я читал твои повести в «Отечественных записках», – сказал поэту Жерве, – и помню читанное тобою из «Княжны Мери». Кто из нас, побывавших на Кавказе, не оценит верности набросанных тобою картин! Боюсь сделать вывод, однако предвижу: критика непременно обвинит твоего Печорина в безнравственности.

– Тартюфы всех времен более всего пекутся о нравственности, – отвечал Лермонтов. – А наши журнальные тартюфы, не имея большой ловкости, отличаются отменным усердием. Не тем ли был встречен и Онегин?

– А Печорина непременно назовут младшим братом Онегина, – включился в разговор Фредерикс. – Не уйти ему от этого опасного родства.

– Я сам имел дерзость поставить моего героя в прямое родство с Онегиным.

– Да объясни, сделай милость, – перебил Шувалов, – кто он такой, твой Печорин, если уж зашла о нем речь?

– Плохо для автора, если замысел его не будет понят без объяснений. – Поэт на секунду задумался. – Герой мой, ничего полезного не совершивший и умерший бесплодно, должен был умереть, хотя бы для того, чтобы у вас, господа, родился вопрос: для чего же мы живем?

– Ты хочешь сказать: в России не дают человеку святого права честно и с пользой для человечества жить? Так выходит? – спросил Жерве.

– Если хочешь, – может быть, и так, – согласился Лермонтов. – Но мой Печорин хоть в дневнике своем писал: я, как матрос, выброшенный на берег, жду, не мелькнет ли в туманной дали желанный парус. А нам с вами и того не суждено. Чтобы плавать в луже нашего благополучия, нет нужды мечтать ни о парусе, ни о бригае... – Лермонтов вдруг оборвал речь: – Но довольно о Печорине! Что нового в театрах, господа? Я не был там целую вечность.

– Нет, нет, постой! – вскочил с места Жерве. – Если твой Печорин получил подорожную и теперь явится перед читателями, то давайте и посвятим ему остаток ночи. Мне кажется, твой Печорин родился от твоей же «Думы».

– Пожалуй, и так будет верно, Жерве, – снова откликнулся Лермонтов, уклоняясь от разговора. – Но, право же, никому, кроме меня, не интересна родословная Печорина.

– Оставь шутки, Лермонтов! – Жерве смотрел на него с укоризной. – Не впервой мы судим и спорим о твоих созданиях. А «Фаталист»? Ведь и там снова говорится о людях, скитающихся по земле без убеждений... Неужели ты не видишь исключений?

– Не знаю, как избавиться от твоего допроса, Жерве. Да и стоит ли Печорин такого диспута? Не лучше ли те герои, начиненные романтизмом, которые толпами населяют наши книги и журналы, или хотя бы мы сами?.. Мы служим, выслуживаем чины, читаем, конечно, не бог весть что, а чаще всего отчеты управителей имений, и читаем их до тех пор, пока жестокая жизнь не освободит нас и от имений и от управителей. А потом, разорившись, снова служим...

– Уж не в наш ли огород летят твои камешки, Лермонтов? – спросил Шувалов.

– Помилуй, кто посмеет говорить о разорении, зная состояние Браницкого, Фредерикса или твое, Шувалов! Нет, избави меня бог от личностей!

– Мы горим желанием послужить отечеству, если нужно об этом напоминать, – вмешался в разговор Долгорукий.

– И поэтому нас только шестнадцать, участвующих в этих важных сходках? Да и что в них проку, Долгорукий? – резко отвечал Лермонтов. – Какая наша цель? Просвещение? Но любой студент знает больше нас. Самооправдание? Наивная, жалкая подачка совести! Ненависть к деспотизму? Какая смиренная ненависть! Мы говорим, говорим и, кончив одну бесплодную сходку, начнем другую. Не мы ли и есть герои времени?

– Нелестно же, Лермонтов, ты о нас судишь!

– Почему о вас? – возразил поэт. – А может быть, о нашем времени?

Поэт отошел к столу. Налил вина в бокал, смотрел, прищурясь, как играют хрустальные грани. Из бильярдной снова слышались щелканье шаров и возгласы игроков. Гости, оставшиеся в кабинете, наскучив литературным разговором, разбились на группы. Только разгорячившийся Жерве, юный Долгорукий да еще два-три офицера оставались подле поэта.

– Помнится, я никогда не читал вам одно из детских своих мараний? – Лермонтов с минуту колебался: – Ну, извольте слушать. Называется «Жалобы турка». Самое название свидетельствует о том, как я был хитер в пятнадцать лет. Мне верилось, что ни один цензор, ни один жандарм не догадается, о судьбах какой страны печалится мой турок. А турок мой, описав в стихах некий дикий край с его поблекшими лугами, продолжал:

И где являются порой
Умы и хладные и твердые как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень,

А почему? И на это ответил всеведущий турок:

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! этот край... моя отчизна!

Не этот ли самый турок, господа, бесследно скрывшийся, оставил ключ и к моему роману? Но то, что было ясно хитрому турку, то навсегда останется тайной для Печорина... Тщетно будет он искать причины страданий в себе самом. Впрочем, не пристало мне давать объяснения за своего героя, пусть сам говорит с читателями.

– Итак, господа, – сказал после общего молчания Жерве, – всегда, о чем бы мы ни заговорили, неминуемо встает перед нами проклятое рабство. И Печорин, не нашедший пути, лишь повторяет, оказывается, у Лермонтова его поэтическую жалобу, вырвавшуюся в детстве. Ты прав, Михаил Юрьевич, рабство калечит всех – не только рабов, но и рабовладельцев. Но если это так, к тебе прямой вопрос: как с рабством бороться?

– Не знаю, – коротко ответил поэт. – По-видимому, на Сенатскую площадь мы еще раз не пойдем.

– Так что же, по-твоему, делать?

– Друзья мои, – отвечал Лермонтов, – наш разговор о романе, который еще не вышел в свет, не приведет нас к решению, впрочем, как и всякий другой разговор... Не пора ли расходиться?

– Не торопись, Лермонтов, и не торопи других. Господа! – возвысил голос Браницкий. – Нам непременно нужно обменяться мнениями о действиях Секретного комитета по крестьянским делам. Кто имеет сообщить новости?

– Представьте, господа, комитет никак не может уяснить своих задач и не решается испросить указаний его величества, – объявил Шувалов.

– Однако известия о комитете, проникшие в общество, уже вызвали сильное неудовольствие его величества, – добавил Фредерикс.

– Но у кого же есть верные сведения о предположениях комитета? – тщетно взывал Браницкий.

Таких сведений ни у кого не оказалось. Комитет, насмерть перепуганный первыми слухами об ожидающихся от него реформах, не проявлял ни малейших признаков жизни.

– Не надо быть пророком: у Секретного комитета не окажется ни тайных, ни явных дел, – заключил Лермонтов. – Разве что отважатся старцы пустить очередной мыльный пузырь! Не в первый раз собирают их для этих невинных упражнений... Когда же назначена наша следующая сходка, господа?

– Как всегда, в пятницу, – объяснил Браницкий.

– А я чуть не забыл о табельных днях заседаний нашей тайной палаты... Жаль, – продолжал Лермонтов, – что не имел возможности вовремя рекомендовать в члены Григория Александровича Печорина. Пожалуй, это был бы наиболее достойный наш собрат... Может быть, ему не пришлось бы ехать от тоски в Персию. К тому же и нас стало бы уже не шестнадцать, а семнадцать.

– Ты все шутишь, Лермонтов! – с укоризной перебил князь Гагарин. – Ты не хочешь видеть, что мысли наши обращены к возвышенному.

– Но если бы я не уважал стремления к возвышенному, – с серьезным видом отвечал Лермонтов, – я бы, пожалуй, не разделял тогда ни тайны, ни опасности этих сходок.

– А ты думаешь, тайна наша в опасности? – осторожно осведомился Браницкий.

– О, ничуть! Сам граф Бенкендорф не подозревает, какой страшный заговор здесь зреет. Но если когда-нибудь ученые мужи, обратясь к истории, вздумают всерьез говорить об этом, какую напраслину взведут они на нас, не способных обходиться без лакеев даже на тайных сходках!.. Итак, до очередной пятницы, господа!

– Едем, Мишель! – встал с места Столыпин.

...Они вышли на безлюдный Невский.

– Пройдемся, – сказал Лермонтов.

Друзья отпустили лошадей и пошли к Литейному проспекту.

– Как твое ранение? – спросил Столыпин.

– Я уже забыл об этом пустяке.

– А я хотел ехать к тебе в Царское, Мишель, если бы не встретил тебя сегодня у Браницкого. Есть неприятные новости. Говорят, прекрасная Бахерахтша, узнав неведомо как о твоей дуэли, уже болтает о том в гостиных.

– Так... – равнодушно откликнулся Лермонтов. – По счастью, ей придется довольствоваться только собственной болтовней.

– До нее, по-видимому, дошел слух, что дуэль произошла из-за Щербатовой. Какая же женщина способна это простить! Кстати, ты был у Щербатовой?

– Был... Милая княгиня горько плачет, убежденная в том, что Барант искал встречи со мною именно из-за нее, и во всем себя винит.

– Пожалуй, у нее есть для этого некоторое основание, – заметил Столыпин.

– Я не стану ее разубеждать, – ответил поэт. – По-видимому, она искренне волнуется. И слезы, если только слезы женщины что-нибудь значат, служат тому порукой. Право, ей не было бы легче, если бы она знала, что Барант искал столкновения со мной во что бы то ни стало; он раскрыл свои карты, когда пренебрежительно отозвался о русских, не остановясь даже перед именем Пушкина.

Столыпин молча слушал горячую речь. По-видимому, его гораздо больше занимали слухи, распространявшиеся по гостиной.

Госпожа Тереза Бахерахт, недавно явившаяся в петербургском свете, была известна эксцентричностью поведения, влечением к поэзии и к поэтам и неудержимой склонностью к собиранию и умножению сплетен. Положение осложнялось тем, что госпожа Бахерахт не скрывала своего пылкого внимания к «демоническому русскому поэту», как она называла Лермонтова.

– А что ты думаешь предпринять против Бахерахтши? – спросил Столыпин. – Смотри, она в самом деле может начать интригу.

– Пустое! – отмахнулся Лермонтов. – Кто даст веру сплетням Бахерахтши?

– Тебе ли, Мишель, не знать изобретательности женщины, мстящей за отвергнутое чувство! Особенно если эта женщина сама принадлежит к дипломатическому миру.

– Но тем меньше ей нужды ввязываться в эту интригу, Монго!

Так называл Лермонтов своего друга и родича Алексея Столыпина и увековечил это прозвище в своих шуточных поэмах.

– Мишель, – отвечал Столыпин, – ты забываешь о нравах дипломатов и дипломаток! Кто знает, может быть, жена русского консула в Гамбурге имеет свои цели, чтобы прислужиться послу Франции или графу Бенкендорфу... А Тереза Бахерахт рождена для интриг.

– Разве только для мелких, Монго!

– Как сказать! А если Бахерахтша гонится сразу за двумя зайцами – жаждет утолить мщением свою ревность к Щербатовой и одновременно хочет сыграть какую-то темную роль? Помни, мне наверно передавали о болтовне Бахерахтши. Что нам делать, если она действительно проникла в тайну дуэли?

– Если так, все будет бесполезно, – отвечал Лермонтов. – Сам дьявол не сладит с женщиной, если ей захочется мстить. Во всяком случае, Бахерахтша не дождетя моих просьб. И ты не беспокойся, Монго, дело с Барантом сошло с рук как нельзя лучше!

– Сошло ли? – в задумчивости переспросил Столыпин. – Во всяком случае, я хотел тебя предупредить... Ты завтра в городе, Мишель?

– По счастью, вырвался на целые сутки. Замучили меня полковыми учениями и держат на особой примете.

– А что нового в полку?

– После твоей отставки решительно ничего. Тоска и муштра...

Они стояли у подъезда дома на аристократической Сергиевской улице.

– Зайдем к бабушке, Монго? – сказал поэт.

– Ты сошел с ума! В этакое-то час?

– А бабушка, знаю, все равно не спит, меня ждет. Только вот беда: едва словом с ней перемолвлюсь – и опять скачи в Царское... Счастлив ты отставкой, Алеша. Ну, будь здоров! Побегу к бабушке. Ох, сколько ей хлопот с внуком! – Он остановился в подъезде и сказал с затаенной нежностью: – Только любовью моей и могу ей отплатить...

Глава четвертая

Весь следующий день Михаил Юрьевич провел в разъездах. Теперь, когда роман был пропущен цензурой, можно было завершить деловые переговоры с издателем. Краевский еще не рисковал браться за издание книг. На «Героя нашего времени» нашелся охотник из театральных чиновников, промышленявший около литературных дел. Он мог предложить автору свое беспрекословное усердие и мизерный гонорар.

Дело сладилось. После этого Лермонтов заехал к Карамзиным. В гостиной, в которой царил дочь покойного историографа София Николаевна Карамзина, встречались люди выс-

шого света, дипломаты, литераторы, художники, музыканты. Как всегда, здесь обсуждались самые разные события петербургского дня. Но и у Карамзиных никаких слухов о дуэли не было.

Поэт приказал ехать на Сергиевскую.

– Совсем вас, Михаил Юрьевич, заждались, – встретил его лакей. – Барыня чуть не с полдня на картах раскидывают.

Лермонтов сбросил шинель и направился к бабушкиной опочивальне.

– Едва вырвался от Карамзиных. Софья Николаевна непременно приказала вас расцеловать, – говорил поэт, целуя Елизавету Алексеевну. – А вы картам, бабушка, не очень верьте. Карты непременно обманут, а я, видите, здесь!

– Ох, голубчик мой, – говорила Елизавета Алексеевна, лаская внука, – не я, сердце заждалось. Что мне с ним делать? Утешения требует, а ты у меня один свет в окошке. Спасибо, хоть к обеду не опоздал.

– Ничего не хочу! – Он сел около бабушки и сказал с тоской: – Устал я, бабушка! Если бы хоть кто-нибудь знал, как я устал!

– А с чего, родной? – забеспокоилась старуха. – Неужто тебя в полку этак загоняли?

– Конечно, и в полку. Но полк – пустяки, только подать в отставку...

– Опять, Михайла? – перебила Елизавета Алексеевна. – Мало ли тебе люди говорили, и поважнее меня, и умом зоркие: нельзя тебе в отставку, коли ты у начальства на примете. Всю жизнь погубишь!

– А может быть, только тогда и заживу, когда займусь, бабушка, делом, – словно бы размышляя, отвечал Михаил Юрьевич.

– Это каким же таким делом? Совсем в сочинители подашься? Нашел дело! А я, родной, все мечтаю – в годы войдешь, отстанешь от сочинительства.

– Не хитрите, бабушка, – улыбнулся поэт. – Ведь вижу, сами мое маранье читаете.

На рабочем столике Елизаветы Алексеевны действительно лежала свежая книжка «Отечественных записок», раскрытая на тех страницах, где была напечатана «Тамань».

Она взяла журнал и, задумчиво переворачивая страницы, продолжала:

– Твоя правда, читаю. И все думаю: в кого ты этаким уродился? В деда-покойника, что ли? Тот, царство ему небесное, все на театрах играл... Только кончил-то как? Сам знаешь, неладно кончил. – Старуха умолкла.

С мужа Елизаветы Алексеевны и началась трагедия в доме Арсеньевых. Она началась с того страшного дня, когда во время представления на домашнем театре в своей пензенской деревне Тарханах Михаил Васильевич Арсеньев кончил жизнь самоубийством. Должно быть, уж очень переплелись тогда театральные увлечения незадачливого помещика с бурной страстью к соседке... А потом замужество единственной дочери и ранняя ее смерть. Все житие Марии Михайловны было двадцать один год, одиннадцать месяцев и семь дней. И упорная, тяжелая борьба Елизаветы Алексеевны с зятем за право единовластно владеть осиротевшим внуком...

И вот он сидит перед ней, этот единственный внук, и кажется бабушке, что нет на свете подобного красавца, облаченного в гусарскую форму. Нет на свете никого и ничего, кроме Мишеля.

– А роман-то твой как? – спросила бабушка.

– На днях пойдет к типографщикам, – ответил внук.

Елизавета Алексеевна тревожно взглянула на него.

– Коли так, изволь-ка ответ держать: как у тебя в полку будет? Поди, с романом-то непременно на особое замечание попадешь?

– Пока сходит с рук. Уверяю вас, в полку никаких неприятностей у меня нет.

– А что на сердце лежит? Не утаивай, все равно допытаюсь!

– Вам и пытаться меня не надо, сам покаюсь. Выйдет в свет роман, а далее хочу собрать мои стихи. Не все, конечно, а те, что хоть сколько-нибудь достойны внимания. Думаю, десятка два при снисхождении отберу...

– О господи! – всполошилась Елизавета Алексеевна.

– Что с вами, бабушка? Чем я вас так встревожил?

– А тебе и невдомек? Ты, Михайлушка, знай – пуганая ворона куста боится. Коли тебя за ненапечатанные стихи на Кавказ услали и я тебя оттуда еле достала, так долго ли голову сносить, если будешь и в журналах печатать и книги выпускать! Я, милый, как твою пьесу в журнале увижу, так по всем церквам свечи ставлю и молебны заказываю.

– Неужто помогает? – усмехнулся поэт.

– Не нам знать. Отец Никодим из приходской церкви как-то спрашивает: «Что это вы, достопочтенная Елизавета Алексеевна, все молитвы к всевышнему воссылаете об утолении злобы? Какая у вас тревога?» А я, милый, кое-как мнусь: не могу же я протопопу брякнуть, что внук, мол, у меня в сочинителях ходит, как же мне не молить всевышнего о спасении от злобствующих?

– Сама мудрость руководит вами, – Лермонтов рассмеялся. – Чего же мне опасаться, если вы отца Никодима и всех чудотворцев на ноги поставили!

– А мне каково? – не унималась бабушка. – Ты там какого-нибудь «Демона» сочинишь, а мне новые хлопоты. Этак, пожалуй, никогда из церквей не выйдешь. Или уж прямо мне в монастырь идти?.. Ты, Мишенька, хоть бы рвение умерил.

– Не волен я в себе, – серьезно отвечал внук. Он снова присел около Елизаветы Алексеевны и обнял ее. – Вы, бабушка, то поймите: не могу! Мне не писать – все равно что не дышать.

– А разве я того не знаю? Потому и тревожусь, Мишенька, денно-нощно тревожусь: знаю, что никакие молебны не помогут, коли опять что с тобой случится, а все-таки твои писания читаю. Думаешь, бабка из ума выжила? Нет, Михайлушка! Я то в беспокойство впаду, а то будто вдруг меня утетишь. Признаться, хоть и стара я, и от веку отстала, и не все, может быть, пойму, а чем больше читаю, тем яснее вижу – глубокая печаль у тебя на душе, а смирения нету.

– Нет, бабушка, – подтвердил Лермонтов.

– И это знаю. А может, и не надо его, смирения-то? Я ведь тоже смолodu не смирилась. А может быть, и никогда не смирюсь. Думаешь, только за твою участь беспокоюсь? Нет, милый, в моем сердце и гордость есть, за тебя гордость. Пусть высокому начальству не нравится. Им всякое правое слово не ко двору, уж очень послушание любят. Ну, а ты у меня сам беспокоен и людей теребишь. А может, так оно и надо? – И Елизавета Алексеевна вопросительно посмотрела на внука.

– Вы, бабушка, все понимаете. Вы у меня министр!

– Не улещай! Эдак ты меня и графом Бенкендорфом объявишь.

– Вот до этого, признаюсь, никогда бы не додумался... Из Тархан, бабушка, известий не было?

– А что ж Тарханы? Стоят себе на месте, и хлеб прикащик будто ладно продал. А может быть, погодить до весны, цены поднялись бы?

Лермонтов слушал рассеянно, потом взглянул на бабушку.

– Вот вы говорите – беспокойный я человек. Пусть так! А как же, бабушка, спокойно-то жить, коли и в Тарханах и повсюду...

– Ну, пошел, пошел! – отмахнулась старуха. – Все наперед знаю. А совесть моя перед людьми чиста. Не Салтычиха же я! У меня все по закону. Если мужик не балует да мне усердствует, нешто я ему враг? Ничуть! От нищих-то мужиков и господам с сумой по миру идти. Одним интересом живем. Разве не так?

– Может быть, и так. Как по-вашему, не знаю. Только мужики-то судят иначе, а при случае, может быть, и Емельяна Пугачева вспоминают.

– Ты-то не поминай лиха! Было – и сгнуло. Это вы, нынешние, Пугачу и разбойникам его акафисты поете. Помню, ох, помню твое писанье! А ты, Мишенька, те листы про горбуна Вадима сжег?

– Бросил, честное слово, бросил... Теперь самому читать смешно.

– Значит, не сжег. Господи ты, боже мой!

– Ну, а какой прок, если бы и сжег? Все равно сызнава возьмусь, только, разумеется, иначе.

– Свят, свят, свят! – огорчилась старуха. – Непереносно тебя слушать! Даже по жилам холод ходит. Погубишь ты себя, Михайла!

– А молебны на что? Всем святым отслужим.

– Кошунство твое тоже брось. Не потерплю! Замолчи, сделай милость! Иди отдыхай до обеда, да и мне распоряжения сделать надо. – И Елизавета Алексеевна поднялась с кресла, опираясь на неразлучную трость.

Лермонтов ушел в свою комнату. Здесь, у бабушки, он был дома; в Царском Селе, где стоял лейб-гвардии гусарский полк, жил будто в походном лагере. Там – трубки, седла, чубуки, жженка, гусары; здесь – Шекспир, Байрон, энциклопедисты Франции, Шиллер и, конечно, Пушкин.

Книги живут у бабушки, пока внук кочует из полка в полк, из столицы на Кавказ, с Кавказа в столицу. Только здесь, подле своих книг, и чувствует себя как дома поэт, укрытый от вражьих глаз, от назойливых посещений, от гусарской шумихи, от всеслышащих ушей.

Надо разобраться в письменном столе, где скопились рукописи и заметки. Он выдвинул верхний ящик и только стал перебирать тетради – на него глянула Варенька Лопухина. «Моя мадонна» – так называл ее когда-то студент Московского университета Михаил Лермонтов. А мадонна вот уже пять лет зовется по мужу Варварой Александровной Бахметевой. Долго вглядывался в заветный портрет Михаил Юрьевич. Варенька написана им по пояс. На ней шелковое закрытое платье с меховым воротником... Памятная греческая прическа и милая родинка-уродинка над левой бровью. О, с каким лихорадочным волнением он писал когда-то этот портрет, стараясь прочесть в ее глазах тайну измены! Но какая кисть передаст изменчивую прелесть этого лица?..

...все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты...

Когда-то Варенька Лопухина шепнула ему, улучив минуту: «Я никому, кроме тебя, не буду принадлежать...» Помнит ли об этом госпожа Бахметева? Он никогда не давал ей никаких клятв. Но разве клятвы нужны сердцу, полюбившему на всю жизнь?

У ног других не забывал
Я взор твоих очей,
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней...

Так писал он Вареньке в озаренные любовью к ней студенческие годы. Он ли виноват в том, что случилось с Варенькой в Москве?

Расстались мы, но твой портрет...

Михаил Юрьевич задвинул ящик письменного стола. Звонко шелкнул ключ. Несколько минут ходил, рассеянно насвистывая какой-то привязавшийся мотив, потом остановился перед мольбертом, на котором стояла в тщетном ожидании давно начатая картина. Живописец, прищурившись, посмотрел. Меж кавказских гор едет одинокий всадник в бурке. Ночные тени почти скрывают путника, а там, на краю неба, уже чувствуется едва уловимый свет. Так задумана эта картина, и автор долго и упорно будет добиваться того, чтобы запечатлеть на холсте утренние светотени.

Сколько раз, будучи на Кавказе, вот так же скакал он в горы, словно хотел один-одинешенек встретить первый багряный луч. Но разве и тогда, в этих скачках, он был одинок? Разве мог забыть, что где-то в Москве, в арбатском особняке господина Бахметева, томится его плененная любовь?

Правда, теперь он почти ничего о Вареньке не знал.

Книги, картины, акварельные наброски, рукописи, фортепиано, скрипка – все ждет его в этой комнате, будто хозяин отлучился на минуту и, вернувшись, с головой уйдет в начатые дела и любимые занятия.

Каждый раз, когда Михаилу Юрьевичу удастся вырваться из Царского Села, позабыть о полковых учениях, об офицерских пирушках и открыть дверь в эту тихую комнату, ему кажется, что вот-вот начнется новая жизнь. И тогда он долго стоит в задумчивости перед письменным столом или перед мольбертом. Никак не расстаться ему с мечтаниями о другой, совсем другой жизни.

Но какова бы ни была эта другая жизнь, он всегда будет ждать: не распахнутся ли тяжелые двери арбатского особняка, не выбежит ли оттуда милая пленница, прежняя Варенька?

Бывают минуты, когда не только в сердце, но и в голову лезет всякая чепуха...

Михаил Юрьевич тщательно умылся, облекся в домашний халат и прилег на тахту. Закрыв глаза – не дремлет. Отвернулся к стене – не отвязаться от беспокойных дум.

Поэт встал, сел к фортепиано. Положил руки на клавиши и начал подпевать в четверть голоса: «Что в поле за пыль пылит...». Это была одна из любимых его песен, но пел он недолго – было смутно на душе.

– Кушанье подано, – доложил лакей.

За столом он был сегодня один с бабушкой, и, должно быть, это был самый счастливый обед для старухи. Она усердно потчевала внука, сама выбирала для него любимые кусочки и кивала лакею, едва внук начинал что-нибудь искать на столе рассеянным взглядом.

Обед был поздний, и каждую лишнюю минуту хотела выиграть бабушка, зная, что не удержит внука на весь вечер. Но, как назло, слуги подавали кушанья с отменным проворством. Сама на себя попеняла Елизавета Алексеевна, что так вымуштровала людей. А тут, едва кончился обед, ни на минуту не замедлили подать десерт и кофе. Быстро кончаются на свете все обеды, еще быстрее кончается всякое счастье на земле. Михаил Юрьевич встал из-за стола, по обычаю поцеловал бабушке руку и взглянул на часы.

– Я отлучусь, бабушка, не вините меня. Но перед отъездом в Царское непременно заеду, хотя бы на часок.

Сказал – и был таков. И сразу стало темно в столовой, несмотря на парадные свечи. Теперь уж не найти места старухе во всей просторной квартире, пока не услышит сызнова звон знакомых шпор.

В безотказной старческой памяти длинной чередой проходят прошлые и будущие тревоги. Каково ей одной, своими слабыми руками, уберечь внука от всех напастей в его мятежной жизни! Каково-то ей одной, одними своими молитвами, уберечь беспокойного внука, когда он знай печатает в журналах стихи и повести, замышляет книги и идет своим путем, никого не сторонясь и ни перед кем не сгибаясь, не страшась ни ссылки, ни гневных взглядов, которые, может быть, бросают на его писания там, куда не может даже проникнуть ее старческий взор...

– А молодец Михайлушка! – говорит вслух Елизавета Алексеевна. – Я тоже ни перед кем не согнулась.

И точно. Когда затеял свой амур с соседкой ее муж, выслала она навстречу разлучнице верховых и объявила ей поворот от ворот. Тщетно ждал Михаил Васильевич желанную гостью. А когда в отчаянии порешил себя, не доведя до конца и представления о принце Гамлете, – этакий, прости ему, господи, комедиант! – тогда, не дрогнув, стояла Елизавета Алексеевна перед трупом мужа. Лучше вдовья доля, чем семейное бесчестье. Умерла единственная дочь – и снова как каменная стояла перед гробом властная старуха. Лучше ей, дочери, ангельский венец на небесах, чем мужние шашни в собственном доме. Намеревался после этого зять отобрать у нее внука, и опять не дрогнула Елизавета Алексеевна – откупилась. Навсегда уехал из Тархан молодой вдовец Юрий Петрович.

Когда прошли годы да выпестовала она внука, выходила его от всех болезней и справила ему полное офицерское снаряжение, чтобы и в гвардии был он из первых, а Мишеньку по царскому приказу сослали на Кавказ, – вот тогда дрогнула старуха. Только и тогда не растерялась. Нашла слезные слова, оказалась умелая на поклоны, не знала устали в просьбах. Все свои знатные знакомства, все родственные связи пустила в ход; до тех пор хлопотала, пока не вернули ей наконец Михайлу, именно туда, куда желала Елизавета Алексеевна, – в лейб-гвардии гусарский полк.

А что же дале будет? Во всем ласков и внимателен к ней внук, только в одном нет к нему приступа. С боязнью и с гордостью раскрывает бабушка заветный журнал, надевает тяжелые очки и перечитывает: «Тамань – самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить».

И пугается Елизавета Алексеевна: да когда же этакое было с Мишелем? А потом вспомнит, что писаны эти строки не в письме, а в повести, сочиненной внуком. От сердца отлегло.

А все-таки непонятное творится с Михайлой. Смешно читать, что печатают о нем в журналах. Ведь писали же в «Отечественных записках» про его повести: «Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе». Напишут же этакое, будто о Жуковском или о покойнике Карамзине. Чудно!

Отцы и дети

Глава первая

– Андрей Александрович! К вам рассыльный из типографии.

– Брысь! – грозно отвечает Краевский, не отрываясь от чтения.

Казачок скрывается, но ненадолго.

– Андрей Александрович! Барыня приказали...

Андрей Александрович молча показывает кулак. Казачок исчезает. В кабинете снова водворяется тишина, слышен только шелест бумаг.

Никто не умеет работать так, как редактор «Отечественных записок». Он один способен выпустить к сроку огромную журнальную книжку и собственноручно держит все корректуры.

Близится срок выхода мартовского номера «Отечественных записок», но странное дело – Краевский не читает никаких рукописей и, кажется, в первый раз задерживает самые срочные корректуры.

На письменном столе, знаменитом своим хитрым устройством, лежат старые книжки собственного журнала, и именно от них не может оторваться редактор. Вот и первый номер «Отечественных записок» за прошлый, 1839 год.

Чем же провинился, однако, первенец, принесший редактору всеобщее признание? Ведь именно в этом номере журнала он, Андрей Александрович Краевский, вернул русской словесности Лермонтова.

– Ох, Михаил Юрьевич, Михаил Юрьевич, не сносить тебе буйной головы! – вслух говорит Краевский.

Лучше бы и не знать Андрею Александровичу о проклятой дуэли. А то дознаются о ней власти да призовут отчаянного поручика, поднявшего руку на сына французского посла, да вспомнят прежние его дерзости – хотя бы те самые стихи на смерть Пушкина, за которые и поехал безумный поручик на Кавказ, – да поинтересуются повнимательнее его новыми писаниями:

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно...

Так и лежал перед редактором журнал, в котором скромно приютилась знаменитая лермонтовская «Дума».

В памяти встали хлопотливые дни, предшествовавшие выходу «Отечественных записок». Как можно было обойтись без стихов Лермонтова, если поэт вернулся из кавказской ссылки и нигде еще не печатался! По старому знакомству Краевский и получил тогда «Думу», на зубок новорожденному журналу. Получил, прочитал и сразу понял, какой алмаз приобрел. Еще раз перечитал и... отложил в самый потаенный ящик стола. Печатать или не печатать?!

Выпустить первую книжку журнала со стихами Лермонтова – об этом мог только мечтать каждый редактор.

«Печатать! Печатать!» – даже во сне твердил Андрей Александрович. Но, черт возьми, вздумалось же этому забияке возобновить поэтическое поприще именно с разящей «Думы»! Клеймит укоризной всех дрогнувших, изверившихся и малодушных. Кто не вспомнит, читая «Думу», как восстал этот самый поручик Лермонтов против убийц Пушкина!

Правда, и сам Андрей Александрович откликнулся в свое время на смерть Пушкина. Это он поместил траурное оповещение: «Солнце поэзии русской закатилось...» – и за то был зван к возмущенному начальству. «Какое такое великое поприще Пушкина имели вы в мыслях, сударь? – наступал на Андрея Александровича начальственный старец. – Что он, ваш Пушкин, полководец был или государственный муж? Нет, милостивый государь, писать стишки еще не значит, совсем даже не значит проходить великое поприще... Уразумели?»

Андрей Александрович получил тогда строгий выговор по службе. Но разные бывают выговоры. Иной принесет прямую пользу. Ни в чем, собственно, Андрей Александрович не претерпел, зато сколько приветствий получил! Сколько безвестных друзей с благодарностью произносили имя Краевского...

Когда он начинал издавать «Отечественные записки», у него уже был немалый круг читателей.

Так печатать или не печатать «Думу»?.. Не раз редактор новорожденного журнала вынимал из потаенного ящика листки, писанные рукою поэта, но так и не мог ничего решить...

Ладно, что возвращен Лермонтов с Кавказа. А все ли ему прощено и забыто? Кто не знает, что власти, пораженные и перепуганные стечением народа у гроба Пушкина, опасались какой-то тайной партии, будто бы собиравшейся действовать по примеру тех, кто вышел на Сенатскую площадь 14 декабря памятного 1825 года. Правда, никто никуда не вышел, и партии, готовой повторить действия тех безумцев, тоже не оказалось. Но ведь общеизвестные стихи Лермонтова, хоть и не увидевшие печатного станка, восприняли на верхах именно как призыв к революции, как политическое выступление от лица именно этой тайной партии...

Все это отлично знал Андрей Александрович, ибо, что греха таить, в то время и сам он навел Лермонтова, находившегося под арестом. Все это было.

И тем труднее оказалось решить вопрос, как поступить с «Думой» редактору, вступающему на новое и обширное поприще.

Но настал наконец день, последний день отсрочки. И Андрей Александрович решился: печатать!

Рискнул – и выиграл, да как еще выиграл! Лермонтовские стихи, пропущенные цензурой, привлекли внимание к первому номеру «Отечественных записок» больше, чем весь остальной материал. Другие журналы, чтобы хоть как-нибудь удовлетворить своих подписчиков, должны были перепечатать «Думу». Вот когда почувствовал Андрей Александрович сладость победы...

А «Дума», выученная тысячами людей наизусть, снова лежит перед редактором. Сколько с тех пор воды утекло, сколько исполнилось у Андрея Александровича смелых надежд! Обстановка редакторского кабинета красноречиво свидетельствует о преуспевании журнала. А впереди новые тысячи подписчиков, и, конечно, комфортабельный особняк, и солидный банковский счет... Но сегодня мигом разлетаются желанные видения. Стоит неотложная работа.

Надо же было этому Лермонтову лезть со своей шпажкой да еще с пистолетом на сына французского посла! Положим, лез не он, а француз, но ведь можно было бы и уступить... Теперь же, если начнется следствие о дуэли, жандармы наверняка почувствуют неустойчивый интерес к поэзии... А ведь «Дума», проклятая «Дума», если приглядеться, полна дерзостных намеков:

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом...

«Насчет отцов сомневаться не будут, – тревожно размышляет Краевский, – отцы у такого беспокойного человека известны: начали бунтом четырнадцатого декабря, а кончили виселицей да каторгой. С ошибками тоже все ясно. Не так, мол, оные отцы, будучи на Сенатской

площади, по мнению господина Лермонтова, размахнулись? Силушки, дескать, не накопили? «Вот, скажут, куда метил автор, а редактор напечатал... Подать сюда, – мигнут кому надо, – редактора!...»

Глаза Андрея Александровича устремились к концу «Думы»:

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом...

«Да кто ж это такой, спросят, судья и гражданин? Слава богу, в России нет граждан, а есть верноподданные. Куда же метит автор? Извольте отвечать, господин Краевский, поелику именно вы сочли возможным наполнять журнал крамольными стихами...»

Андрей Александрович потер виски. Он собирался, стоя на краю гибели, произнести последнюю защитительную речь, как вдруг сердце отстучало неровно, отрывисто.

Он бросился к письменному столу, достал какие-то капли, отобрав их из множества лекарств. Выпил и лег на диван.

Силы небесные! А если доберутся до тех строк, которые он, редактор, благодаря создателю, вовремя изъясил! И повторил почти шепотом эти лермонтовские строки, адресованные благоденствующим россиянам:

Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властью – презренные рабы...

Сердце снова отстучало отрывисто и неровно.

– К тебе можно, друг мой? – Анна Яковлевна Краевская тихо вошла в кабинет и, увидев, что муж лежит с закрытыми глазами, скрестив руки на груди, осторожно присела к нему на диван. – Что с тобой? Дать тебе капель?

– Благодарю! Я уже принял. Благодарю тебя. – Андрей Александрович поцеловал руку жены. – Должно быть, переработался. Такова горькая участь журналиста. Везде, каждый день опасности...

– Тебе непременно нужно отдохнуть.

– Отдохнуть! – Андрей Александрович присел на диване и горько улыбнулся. – На Руси, Анечка, редакторы отдыхают разве только за решеткой...

– Что ты говоришь? Опомнись!

– К слову пришлось, милая! Ну, конечно, и нервы... – Он искоса глянул на письменный стол и глубоко вздохнул. – Работаешь, сидя в кратере вулкана...

– Какой кратер? Ничего не понимаю!

Андрей Александрович поднялся с дивана и подошел к столу.

– Вот он, мой вулкан, вот кратер, – и он протянул указательный палец к разбросанным по столу книжкам «Отечественных записок». – Есть, Анна Яковлевна, люди, которые все и вся осуждают. Выносят беспощадный приговор и еще грозят судом потомства. Они судят, а редактор отвечай...

– Так зачем же ты печатаешь?

– Вот-вот... Зачем? Боюсь, что такой же вопрос зададут мне и в ином месте... – Он сел за стол, сокрушенно вздохнув. – Ну, поди, дорогая, к себе. Прости, я неотложно занят...

Редактор с прежним мужеством продолжал просматривать все, что напечатал из Лермонтова. И недолго пришлось листать журнальные книжки. Не угодно ли, господа читатели «Отечественных записок», следующее стихотворение господина Лермонтова, под названием «Поэт»?

Андрей Александрович надел было шелковую шапочку, потом снова ее снял и, пробежав стихотворение, почти с отчаянием прочел последние строки:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

Вот как выглядят стихотворения поручика лейб-гвардии гусарского, полка, если перечсть их в ретроспекции, одно за другим. Сначала он выносит беспощадный приговор, а потом с неумолимой последовательностью взывает к кинжальному клинку – уж не для исполнения ли приговора?.. Но опять ведь перепечатали «Поэта» в других журналах, к вящему прославлению «Отечественных записок».

И твердо знает редактор: если бы начинать сначала, никому бы не уступил он ни единой лермонтовской строчки. По счастью, и негде больше Лермонтову печататься. Нет в Петербурге пристойного журнала, кроме «Отечественных записок».

Андрей Александрович прочел еще одну, такую безобидную по названию пьесу – «Не верь себе». Автор рисовал наглядную картину нравов подданных императора Николая Павловича!

...из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..

С отрадой остановился взор редактора на «Трех пальмах». Этакая волшебная красота и упоительная музыка! Но вряд ли будут долго блуждать жандармы вокруг трех пальм. Есть же у них нюх! И нет никакого утешения Андрею Александровичу! Сам виноват. Сам все напечатал.

Куда бы проще печатать в «Отечественных записках» поэмы многоуважаемого Василия Андреевича Жуковского. Беда только в том, что пленительные стихи его не умножают числа подписчиков. И Виссарион Белинский пишет в статьях: «Ныне читатели требуют не мнений, а мысли». Вопрос, однако: какой мысли требуют читатели? Разве у Жуковского нет мысли? Конечно, есть! Но мысль Василия Андреевича направлена преимущественно в туманный, надзвездный мир, а читатели требуют мысли о здешней грешной жизни. И учат наизусть пьесы Лермонтова. Со времени Рылеева еще не было таких взрывчатых стихов. Рылеев... Страшно и вспомнить Андрею Александровичу о том, что началось на Руси после расправы с Рылеевым и его товарищами; страшно произнести вслух эти имена. А неугомный поручик Лермонтов пишет стихи с посвящением «Памяти А. И. О-го». И он, Краевский, опять их печатает... Неужто же такие олухи жандармы, чтобы не допытаться при надобности, кто скрыт от бдительного ока под интригующими буквами? Легко дознаться, что скрыт под этими буквами один из товарищей Рылеева, ныне умерший государственный преступник Александр Иванович Одоевский.

Неустрасимый лейб-гусар так и начинает свои стихи с признания:

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно...

И заканчивает прямым сочувствием делу мятежников:

Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную...

Андрей Александрович Краевский листал «Отечественные записки», то дивясь, как пропустила все лермонтовские пьесы цензура, то стараясь понять, как сам он все это напечатал... А между тем дошел до стихотворения, обозначенного датой: «1 января». Именно в этой пьесе, вспоминая недавний новогодний маскарад, Лермонтов писал:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

На маскараде, оказывается, этот дуэлянт уже успел попотчевать если не стихом, то прозой дочерей самого императора!

– Н-да! – крикнул Андрей Александрович. – Теперь надобно спасать «Отечественные записки» и себя...

Он откинулся на спинку кресла, но вместо хитроумных спасительных планов перед ним как живой встал Лермонтов. Большеголовый, коренастый... и глаза... Черт его знает, какие глаза! Никогда не смеются. А проникают прямо в душу. Недаром говорят, что многие совсем не выносят его взгляда.

– И везде-то от него беспорядок, – вдруг рассердился Андрей Александрович, – даже на письменном столе и то норовит устроить анархию!

Глава вторая

Для встречи посетителей у редактора «Отечественных записок» выработан строгий ритуал. При входе Белинского Андрей Александрович не пошел к нему навстречу, а лишь при- встал с кресла.

– Давно жду вас, всепочтеннейший Виссарион Григорьевич. Хоть никого сегодня не принимаю, однако для вас запрета нет. Как драгоценное ваше здоровье?

– Похвалиться не могу, – отвечал Белинский, – но я к этому уже привык. – Говорил он с той хрипотой в голосе, которая свидетельствовала о тяжелом недуге.

– Ай-ай! – сокрушенно качает головой Краевский. – Опять кашляете! К весне нужно особо вам беречься. Наша петербургская весна...

– Писали вы ко мне, – перебил Белинский, – что имеете срочное дело.

– Пресрочное, уважаемый Виссарион Григорьевич. Статьи вашей терпеливо жду и могу ждать еще дней пяток, а вот это дело ни минуты не терпит. – Краевский взял со стола листок бумаги. – Составил я список книг для библиографических известий, извольте взглянуть.

Белинский стал читать. Чего только не было в списке! «Разговоры Эмилии о нравственных предметах», «Секретарь в сундуке», роман «Женщина XIX столетия», «Гадательный альбом», «Библиотека коммерческих знаний», «Месяцеслов», «Устав Тульского общества конских ристалищ»... Не дочитав до конца, Белинский положил листок на стол.

– Помилуйте, Андрей Александрович, что я понимаю в коммерции или в конских ристалищах?

– Знаю, знаю! – успокоил Краевский. – Да ведь вы, батенька, о чем бы ни писали, хоть бы и о гадательном альбоме, умеете столько полезного сказать читателю, так умеете высмеять невежество или спекуляцию...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.